

I.

Дом Светы Чернявки. Мусорки. Магазин «День и ночь». Дом Тамары Ильиничны (интересно, жива ли она). Дом Алексея Матвеевича (я знаю, что он жив, я знаю, что он переехал в Евпаторию вместе с женой и дочкой, я знаю, что она по-прежнему его выгоняет из дома, когда он напивается, а он – по-прежнему напивается, иногда).

Моя серая школа. Все тот же сад, в котором мы проходили практику. Вырывали сорняки, таскали воду из туалета, что-то сажали. Не помню уже, что. Как будто бы и ничего. Окна кабинета учительницы биологии, которая умерла год назад через неделю после моего дня рождения. Какая тоска, боже мой, я стою, нагнувшись, согнувшись, и все равно не помещаюсь на этой плитке, не влезаю в этот кабинет, проваливаюсь в траву, которая как облака, в которые я падаю, когда выпиваю.

Светлана Павловна, Светлана Александровна, Татьяна Владимировна, милые мои, я ничего не помню. Я не помню, как я ходила по этой плитке, когда мне было одиннадцать. Или двенадцать, или тринадцать, или четырнадцать, или – и так далее. Наверное, я старалась переступить сразу весь этот квадратик, наверное, считала, сколько их.

Мне стыдно проходить днем около ваших окон. Мне все время кажется, что вы увидите меня или

ваши растения, стопки тетрадок увидят меня и расскажут вам. И вы узнаете о моей невылеченности, вы снова скажете, что я больной человек, и восторжествуете. Я хочу, чтобы вы все думали, что у меня есть жизнь, какая-то жизнь, огромная жизнь, и мне вообще-то все равно на обрывок, на затонувший остров, на вас на всех.

Когда я попыталась пройти мимо больших окон нашего спортзала, я выключила музыку из своих наушников. И замедлила шаг. Но никого не узнала. И меня чуть не сбила машина.

II.

Я никогда не думала, каково им было, когда я уехала. Мама часто говорила, что сломалась после моего переезда. Мы не говорили, что я переехала, мы говорили, что я уехала. У мамы было сколько-то врачей, больше десяти, наверное, если их посчитать, сколько-то анализов, сколько-то таблеток. Она перестала куда-либо ходить, покупала таблетки, а потом их отнесли к наркотическим и запретили продавать без рецепта. Она скупилась все, что было в нескольких аптеках, но они закончились быстрее, чем предполагалось. И началась какая-то еще одна жизнь, еще одни бессмысленные походы к врачам, которые, в общем-то, ничего сделать не смогли. Женщина со способностями (так мама назы-

вает ясновидящую) говорит, что маму кто-то давно и сильно проклял. Но я не хочу в это верить.

Когда я впервые приехала к ним, я поняла, что моей комнате больше не существует. Мама выбросила мой ковер, который я сама купила, когда еще были гривны. На книжных полках, где раньше стояли мои учебники, – какие-то рабочие документы. Везде – свечи и мои фотографии в рамочках, как будто я на самом деле умерла.

Наверное, только мама поняла, что так оно и случилось. Теперь я дальний родственник, близкий друг, кто-то там, какой-то там человек.

III.

Мне страшно ночью ходить одной. Мне кажется, что город хочет мне отомстить за то, что я бросила его, показать, что он больше не мой. Но я не верю ему. Он мстит тем, кто остается. А у меня – жизнь. И приехала я – не возвращаться.

Иногда я думаю, что Алексей Матвеевич был единственным, кого я любила. Мы с ним курили около помоек (и называли их просто мусорками), я ждала, когда он выйдет, проходила как будто бы мимо, а потом мы с ним говорили.

Вот она, лавочка, на которой я его ждала. С нее хороший обзор на школьные ворота, из которых выходили учителя. Я ждала их, а потом шла за ними, делала вид, что громко говорю по телефону, и рассказывала как будто бы им о своей жизни. Они меня не любили. Они не знали, что все это (мои преследования, вызовы к завучам, разговоры с директором, сигареты) – для них.

Как-то я шла за вами, Людмила Анатольевна, вы мне очень нравились. Вы всегда поздно заканчивали, потому что у вас были шестые уроки второй смены. Я дожидалась вас на той самой лавочке. А потом шла. Я знала вашу дорогу, и как-то я решила пойти впереди вас, чтобы вы меня сразу увидели. Я сделала вид, что я очень пьяная и что я говорю об этом по телефону. Говорю о своей несостоявшейся любви (вы учительница литературы, вы любите серебряный век, вы взрослая женщина с вечно страдающими глазами – вас должно было это привлечь). Я шаталась и опиралась на что придется, а вы прошли мимо. Потом вы остановились и подошли ко мне, предложили помощь, а я сделала вид, что не заметила вас. И вы ушли. И я до сих пор не знаю, почему вы тогда ушли. За вас я сражалась до последнего, пока что-то не произошло, что-то не сломалось, что-то не началось. А может быть, ничего и не началось.

IV.

Я не хочу вам писать, моя любовь Ирина Александровна. Вы мне наконец-то надоели. Я прохожу сквозь школу, сквозь наш двор, сквозь ворота, через которые вы входили и выходили, которые вас наверняка раздражали. Зеленые. Ненужные. Я прохожу через наши с вами места, места нашего знакомства и прощания, и я не думаю о вас. Если бы я сейчас случайно не вспомнила, что мы с вами были там вместе, прямо там, прямо в нашем кабинете географии, кажется, двадцать пятом, я бы ничего, ничего, любовь моя, ничего бы не вспомнила. Зато я помню их всех вместе, общей группкой, отчего-то всегда размякшей, расстроенной. Сколько их осталось, любовь моя? Да только мы с вами. И кто-то еще: одни Валентины, Светланы и Татьяны, их отчества смешались. Я не знаю, кто из них был Николаевной, кто Ивановной. Я не знаю, не мучьте меня.

Иногда мне кажется, я пила, чтобы снова выйти из своего тела, снова посмотреть на вас сквозь стекло (или слезы), посмотреть, не будучи с вами. Мой врач потом мне говорил, что это дереализация. Он глупый врач, и все врачи – глупые. В детстве я выходила из своего тела каждую неделю, я взлетала над ним, особенно в толпах, на демонстрациях, парадах. Бабушка постоянно мне угрожала психбольницей, иногда даже таскала туда, но никто из вас не смог отнестись ко мне серьезно. Это ваше профессиональное поражение, глупые. Алкоголь позволял вернуться в детство, вернее, создать новое детство, в котором эти выходы не были болезненными и нежеланными.

Я надела новую парку, взяла с собой взрослую сумку из искусственной кожи, надела очки-пустышки. И пошла в магазин «Коктебель», он был прямо около школы. И я специально пошла именно туда. Купила вино «Феодосийское» за двести рублей. Попросила его открыть, и мне открыли. Паспорта не спрашивали, ничего не спрашивали, только говорили, что вкусное. И я пила его около школы, специально, чтобы вы меня наконец заметили.

V.

Нет, мне не то чтобы плохо в Москве моей, в новой жизни моей. Мне очень хорошо: да, я счастлива, у меня вообще-то многое есть, больше, чем у вас, Татьяна Владимировна и Татьяна Павловна. У меня выходят книжки, а скоро я и сама выйду, почти как книжка, – замуж. Муж у меня будет самым лучшим на свете, он обожает жить в лесу, обожает собак

пожаловаться, чего попросить. Мне всегда хотелось жалости. Не потому что я несчастна, я не несчастна, а потому что я живу и что-то чувствую. Хочешь не хочешь, но приходится здесь быть, делать свое дело; а оно – чудо – только для других, для тебя же – единственный возможный способ жизни. Икона не спасает себя, когда мироточит. Мне бы хотелось, чтобы Людмила Анатольевна (или вы, Светлана Александровна, или вы, Светлана Павловна, или вы, Татьяна Владимировна) посочувствовала мне, посочувствовала на будущее, предвидя его. Всем рабам божьим надо сочувствовать, мы все должны жалеть друг друга. Я не знаю, что еще человек может дать человеку, правда, не знаю. Мой муж мне сочувствует.

Вчера я купила кольцо с камнем, камень – ставролит. По легенде, камень этот, ставролит мой, образовался из слез ангелов, оплакивающих смерть Христа. Они были лучше нас и жалели не себя, а его, нашего Христа, который долго и мучительно. Я купила это кольцо и теперь думаю, что гениальность Христа проявилась в его смерти, когда гениальность художника проявляется в его картине. Поэтому сама жизнь художника – распятие, и нужно уметь увидеть эту долгую и мучительную смерть, растянутую, чтобы пожалеть его, простого человека, человека с даром. После презентации ко мне подходили мои друзья, мои знакомые и поздравляли меня, целовали, обнимали, дарили цветы. Муж видел все это, а потом посадил меня на заднее сиденье, сел ко мне и несколько минут гладил меня по голове. Просто молча гладил. Я услышала, что он шмыгает носом – он плакал.

Скажите, что у меня есть дар, скажите, что вам меня жалко, пригласите меня к себе в гости. Мне скоро двадцать пять лет, это день рождения, это юбилей, мне тоже хочется беспричинной нежности. Но я одна, я пытаюсь проглотить пустоту, но она выходит из меня непрекращающейся отрыжкой.

VIII.

Я встала в очередь на исповедь. Я не думала, что скажу отцу Михаилу, как перекрещусь, как назову свое имя, я была уверена, что он меня узнает. Не бывает же такого, чтобы не узнал. Я смотрела на него, я улыбалась, я широко раскрывала глаза, как в детстве. Когда он спросил мое имя, я по старой привычке хотела сказать «отроковица Ирина», но быстро исправилась. Я перечислила ему старый запас грехов, добавив «обманывала жениха». Но нет у меня никого, и не обманываю я никого. Тебя, что ли, Господи. Я всю себя, бессмысленную без тебя,

пустую, тебе отдаю. Я признаю, что я не принадлежу даже маме, своей маме, я принадлежу только тебе, и мой дар, который я чувствую как силу, мучительную силу, высасывающую из всех жалость, принадлежит только тебе. Этот комок, делающий меня сверхчеловеком, я – комок, я вместе с комком качусь к тебе, в надежде на то, что когда-нибудь, когда я все сделаю, мне не понадобится жалость, но будет что-то еще. Какая-то новая жизнь.

Когда я выходила из храма, я сфотографировала номер отца Михаила. Как номера старцев из Печорского монастыря. На какое-нибудь будущее.

IX.

Мне действительно иногда так кажется. Алексей Матвеевич, мне бы хотелось, чтобы вы жили сами. В квартире моего дедушки – почему-то она мне представляется, когда я думаю о вас. Уже сто лет как. Иногда, когда я на финишной прямой, я вдруг вижу вас, ваше левое плечо, ваши ноздри, ресницы. Я не контролирую это, я не хочу вас видеть. Но в эти секунды, кроме облегчения, я чувствую, как будто я оттолкнулась от кровати и подлетела до самого потолка. Пробила его и опустилась на мягкое облако, которое вдруг почему-то меня удержало.

Господи, да заберите меня отсюда. Скажите хоть вы, что я была, я росла здесь, росла, росла, а потом выросла и мы с вами, вы помните. Мы с вами чуть не поцеловались. В субботу, около двенадцати часов, сразу после нашего урока. Мы говорили какое-то время, долго, наверное. Мы зашли с вами в вашу комнатку, лаборантскую или как там ее, вы что-то доставали, показывали, а потом захлопнулась дверь и что-то произошло. Алексей Матвеевич, скажите, что я не сошла с ума.

Алексей Матвеевич, я помню, как пахнет ваш парфюм (как все дешевые мужские) и как выглядят ваши ключи от дома. Я могу приехать к вам в Евпаторию и быть с вами. Я знаю, что вы уйдете от жены, потому что после встречи со мной жизнь с ней покажется вам бессмысленной и вам ужасно станет жалко всех этих лет, на протяжении которых она при всех кричит на вас, на полковника, на человека чести и чувства. Вы ее возненавидите. Мы, Алексей Матвеевич, будем с вами вместе, вы будете меня бесконечно целовать, без языка, просто губами, все мое тело, мои веки, вы впервые потушите мне гуся, потому что я очень люблю тушеного гуся. А потом, и это случится совсем скоро, вы ляжете и будете лежать, вы попросите меня закрыть шторы, чтобы никто не видел вашего умирания. И я перестану

спать, я не смогу ложиться с вами без снотворных, и каждое утро, встреченное вместе, будет самым счастливым днем моей жизни.

Я знаю, что вы сейчас один. Я стою около мусорок, не курю, вижу, как ваша жена что-то делает на кухне. Свое женское. Я могла бы зайти в этот подъезд, подняться на третий этаж, постучаться в вашу квартиру и сказать ей все что угодно. Но есть судьба, какая-то судьба, какая-то другая жизнь, и я не смогу к вам приехать, потому что мы не сможем с вами просыпаться, ни разу не сможем, и гуся вы не сможете мне потушить. Какая-то судьба, моя судьба, которую почему-то надо исполнять. Оказывается, между жизнью и школой нет отличий, помните, я сто раз влюблялась, даже не вспомню, в кого: в учителя английского, в новенького кого-то, учителя истории, кажется. Сто раз, миллион раз, и всегда было нельзя, потому что устав, потому что законы, и нам нельзя, потому что у нас свой устав и он называется «судьба какая-то» или по-другому – «какая-то судьба».

Мы бы с вами спились.

Х.

От меня осталась полочка в самом маленьком шкафу. Самая нижняя полка, от этого она кажется самой маленькой. Она похожа на ячейку в колумбарии – например, Донского кладбища. У меня там лежит фотоальбом, который я когда-то покупала для наклеек, я их собирала и меняла на другие наклейки, лежит мишка ручной работы, которого мне подарила мама на мой какой-то день рождения, лежит мальчик-кэн, которого мне тоже подарила мама и тоже на какой-то из всех моих дней рождения, лежит розовая коробочка, в которой собраны мои маленькие вещи. Я специально складывала их туда, чтобы когда-нибудь потом все раскрыть и вспомнить. Но «когда-нибудь потом» случается никогда. Вот, камень с дырочкой – я нашла его на пляже, когда была в санатории «Здравница», я была влюблена в нашу воспитательницу. Ну, как влюблена, просто что-то было, что-то, что больше не повторялось потом. Почему-то, по какой-то неясной причине. Наверное, из-за судьбы, какой-то судьбы.

Первый билет на самолет. Меня по программе для одаренных детей повезли по Золотому кольцу наши две учительницы. Все эти дни (и сейчас, и сейчас) я жалела, что это были не вы, Ирина Александровна. Но теперь мне все равно.

Бабушкины записки – она любила писать на каких-то обрывках, листиках с жирными пятнами: «Ируся, ушла к врачу! Пюре с отбивной в духовке.

Целую!», «Ируся! Не дождалась тебя. Оливье в холл-ке. Спешу. Целую. Манюня». «Ирочка! Калитку не закрывай на ключ. Привезут воду». «Ира! Я тебе дам 1000 руб. на цепочку в память о д. Алеше». А на обратной стороне – острый почерком брата: «повт предлоги ex 1 p 12 знать ex 3(пис)».

Может быть, эта новая жизнь началась, когда умер дедушка. Я училась в одиннадцатом классе. Когда я шла к нему в больницу, я надела самую красивую одежду (белые брюки, кожаную коричневую куртку, коралловый шарф) – для того, чтобы нравиться врачам. И на похороны я оделась красиво. После того, как его опустили в землю, я почувствовала облегчение. Наконец-то я осталась почти одна, у меня теперь есть право на жалость.

Там много всего. самого важного, это квинтэссенция моего детства. Мой личный колумбарий. Больше мне не за что бороться.

XI.

И вот ты расстаешься с человеком, которого любишь. И очень хочется выпить (напиться), и невозможно находиться одной, и невозможно с кем-то встречаться. Но ты держись. И что будет дальше – ясно. Ничего внятного. И кажется, что взрослая жизнь – это отработка, возврат долга за детство, которое и было единственной настоящей жизнью, и думаешь, различаются ли последствия самоубийства и смерти после жизни, прожитой в соответствии с судьбой, но после всего этого – выходишь голой на балкон, черт знает в каком городе, а оказывается, что внизу снимают кино. Вдоль моря ходят люди в шарфах и с фотоаппаратами. Летают чайки. И оказывается, что жизнь каким-то удивительным образом все-таки продолжается.

Когда я училась в школе, я часто плакала: все уйдет, я окончу школу, уеду, бабушка умрет, цветы завянут, дом разрушится. Но я не знала, что все это и правда произойдет и я снова буду плакать, как будто вся эта судьба – для меня – не имеет никакого смысла.

А может быть, и нет никакой судьбы. И я просто не хочу умирать.

